

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Мне и прежде, конечно, случалось бывать на тетеревином току, но тока эти были плохонькие: иногда всего лишь один петух воинственным кличем оглашал окрестности, тщетно призывая своих собратьев померяться с ним силами в честном мужском бою. И стыдно мне было потом вспоминать, что сразил я его не в открытом поединке, не бросившись на него, вытянув шею и хлопая крыльями а, "страшась вступить с героем в бой", подкрался из-за кустов "как тать презренный" и выстрелил в него, сам, при этом, не рискуя быть побитым и израненным.

Но это были лишь лицемерные, "запоздалые сожаления". В те же минуты, в пылу охоты, мне все представлялось совсем иначе: вот он — лесной житель, чувствующий себя дома среди кустов и кочек, зоркий, лихой, крылатый, когтистый; он хорошо выспался, уснув, как только отгорела вечерняя заря, и сейчас — дух его бодр, тело его подвижно: любой подозрительный шорох, и он мелькнет как черная молния, и разбойничий крик его раздастся уже за полкилометра; и вот я — горожанин, не выспавшийся, выбившийся из сил, пока добирался до шалаша, споткнувшийся и зачерпнувший воду в сапог,.. согнулся в три погибели, напрягаю зрение... не шелохнись, не поторопись... одно неверное движение и насмарку все мытарства, вся бессонная ночь, а может быть, и вся весенняя охота..." Во что же я стрелял? Ведь это же была кочка. Кочка! Будь она проклята!"

Но в этот раз удача мне улыбнулась, и улыбка материализовалась в форме знакомства с человеком, который не будучи охотником любил, оказывать благодеяния ближним своим и,

на мое счастье, имел большие связи в организации, именуемой Главохота. Он кому-то позвонил, и вот уже все было улажено, меня уже ждали, и, "хотя гарантии, конечно, нет", но, если ничего не произойдет, если погода не испортится, то, говорят, ток нетронутый и петухов тридцать... Тридцать петухов? Да мыслимое ли дело, неужто я и вправду такое увижу?!

Перед отъездом надо было решить проблему: какое из трех ружей выбрать. Пятизарядный браунинг я отложил сразу. Нет, не сразу какое-то время крутил его в руках, вспоминая, как отец часто говаривал: "Первый раз поторопишься, второй промахнешься, третий патрон иногда бывает очень даже нужен, а тут у тебя в запасе еще два. Особенно на утином перелете или на тяге..., но штука капризная, если патрон плохо пригнан или, не дай бог, отсырел — конец, всю зорю можешь проковыряться, пока его вытащишь". Браунинг я отложил, но остались еще два ружья: старая Тулочка, которую я любил за прикладистость и с которой охотился последние годы, и Зауэр- предмет восхищения и зависти всех моих друзей-охотников — легкий, изящный, не такой прикладистый, но зато с исключительных боем. Поначалу я отдал предпочтение Тулочке: все-таки старый друг, но потом вспомнил, как несколько дней назад палил из нее по вальдшнепу — и недалеко было, и летел хорошо, а он, по-моему, даже внимания на меня не обратил. Конечно, может быть дело совсем не в ружье, а в стрелке, но... Вот прошлой осенью, когда утка вылетела шагах в пятнадцати, и я вроде и не поторопился, и прицелился хорошо, а она помахала мне крылышками, как ни в чем не бывало — что же, опять я виноват? Я отложил Тулочку и взялся за Зауэр он тоже был не без греха: стволы почему-то туго вставляются в колодку — иногда приходится повозиться, прежде

чем соберешь; антапок нет, не к чему прикрепить ремень, и приходится нести ружье до места охоты в руках или в чехле. И все-таки... со скольких же метров я тогда в глухаря стрелял, наверное, метров с шестидесяти, и он как камень свалился... Только неприкладистое оно какое-то...

Наверное, с полчаса я крутил в руках то одно, то другое ружье: складывал их, раскладывал, прикладывал и, наконец, остановившись все-таки на Зауэре, положил его в чехол и занялся подборкой патронов.

И вот уже Москва позади, и "Жигули" мои несутся по Ярославскому шоссе, мимо недавно оттаявших полей, мимо светлых, еще не покрытых листвой перелесков, мимо Переславля, мимо Ростова; и вот уже, не доезжая Углича, поворот с шоссе на такую дорогу, по которой ни один здравомыслящий водитель ехать не рискнет, но собравшийся около магазина лихие молодцы уверяют, что дорога страшна только с виду, что легковые машины здесь ездят все время. И вправду: первая, самая жуткая лужа уже позади, вторая уже не кажется такой страшной, дальше дорога выравнивается, третья лужа — совсем пустяк, но именно в ней-то я и заставаю; бегу назад: "Ребята, выручайте",- и вот уже меня вытолкнули, и "бутылка за мной", и, проехав еще километра два, я подруливаю ко второму от конца деревни дому, где, как мне было сказано, живет местный охотник, и где меня должен встретить егерь, заботам которого я, и препоручаюсь.

Хотя я и торопился, как мог, но все же припозднился, и, очевидно, по этой причине встречен был довольно хмуро. Егерь — Николай Андреевич — сказал, что еще пять минут, и он бы уехал к себе. Куда это "к себе" я не знал, плохо понимал, что будет

происходить дальше, но вопросов решил не задавать, во всем положившись на судьбу. Спросил только: понадобится ли моя машина, на что Николай Андреевич, посмотрев в окно на "Жигули", проделавшие только что таткой героический путь, процедил: "Эта, что ль? Да на что же она может понадобиться? Девок катать?" — и стал прощаться с хозяевами. Наскоро посовав в рюкзак вещи, которые по моим соображениям мне могли бы понадобиться, наверняка перезабыв половину из того, что надо было бы взять (а ведь я как тщательно собирался в Москве!), я поспешил за ним и, выйдя на крыльцо, обнаружил, что с другой стороны дома стоит колесный трактор, на который мы и погрузились.

Когда, выехав из деревни, пересекли поле и въехали на лесную дорогу, нелепость вопроса о "Жигулях" стала мне очевидной: даже трактор, вырывавший своими могучими колесами глубокую колею, с трудом продвигался вперед, время от времени по брюхо проваливаясь в ямы, заполненные водой и снегом. Да снегом! Как это ни невероятно было себе представить в Москве, глядя на уже подсыхающие тротуары или из окна автомобиля любуясь березовыми перелесками, готовыми, кажется, вот-вот зазеленеть, здесь, в густом еловом лесу, лежал глубокий, местами, наверное, в полметра снег.

Радостное возбуждение, которое я испытывал, собираясь на охоту и выезжая из Москвы, схлынуло, и я сидел рядом с мрачно молчавшим егерем, чувствуя, что устал, голоден, что начинает болеть голова и что приезду моему никто не рад. Да и с какой стати! С какой стати этот Николай Андреевич, которому я свалился как снег на голову, нарушил, наверное, какие-то его планы, заставил себя ждать, должен был радоваться моему приезду. Напрасно

пытался я себя уговорить, что все это не имеет значения, что усталость пройдет, что в кармане у меня пачка тройчатки- значит с головной болью справлюсь, что приближается миг, который я вожделем так давно (тридцать петухов!) — ничего не помогало: почему-то все-таки мило значение, что чужие люди мне рады, петухи казались какой-то абстракцией, а в голове крутились обрывки мыслей, что я кому-то не позвонил и чего-то не доделал на работе. Чтобы нарушить молчание, я спросил "далеко ли нам ехать" и услышал в ответ, что шесть километров и что назад мне придется идти пешком, так как завтра, чуть свет он уезжает на несколько дней в Мышкино на собрание егерского коллектива.

Наконец мы подъехали к хутору, расположенному в углу леса и, как я потом выяснил, именуемому Угловка. Войдя в дом, мы были встречены хозяйкой —Евдокией Васильевной, которая сказала, что заждалась, что картошка сварена, самовар кипит, предложила мне раздеваться и отдыхать. Однако Николай Андреевич сразу же отклонил все эти предложения, пробурчав, что уже поздно, что начальство все сообщает в последний момент, что завтра на зарю он со мной пойти не сможет, а потому нам следует немедленно идти, чтобы пока светло он мог бы показать мне дорогу на ток.

- Да куда же он после такого пути пойдет-то? Часов десять ведь, наверное, ехал-то, — заохала Евдокия Васильевна.

- Ничего, для этого и приехал, — сказал Николай Андреевич все тем же сердитым тоном, но затем добавил уже более примирительно, что, мол, "охота пуще неволи" и еще более одобряющее: "идти тут недалеко, скоро вернемся".

Когда мы вышли из дому в начавшиеся уже сгущаться сумерки, и, перейдя дорого, по которой приехали, углубились в

смешанный березово-осиновый лесок, настроение мое начало понемногу подниматься. Пахло талой землей, шумел лес, журчали ручейки, перекликались синички. Я сообразил, что уже много часов провел, почти не разгибаясь, то в автомобиле, то на тракторе, и сейчас получал удовлетворение просто оттого, что двигался, перешагивал через упавшее дерево, наклонялся, чтобы взглянуть на медуницу, пробивающуюся сквозь прошлогодний лист. Проводник мой тоже, оказавшись в родной стихии и убедившись, очевидно, что человек я тихий, ни на что особенно не претендующий, примирился с моим присутствием и стал более разговорчив. Дорогу он объяснил толково, показывая ориентиры, и на каждой развилке останавливаясь, чтобы я мог все хорошо запомнить и прочувствовать.

- Как на бугор поднимитесь, так сразу по левой тропинке пойдете, на поле не сворачивайте, держитесь вот этой колеи. Я тут давеча на тракторе проезжал до самого креста. А как на крест выйдете — там уж рукой подать.

Когда мы, выйдя на перекресток дороги и просеки, именуемой крестом, остановились перекурить, сердце мое заколотилось от знакового надвигающегося звука: "хор, хор", и вальдшнеп спокойно и деловито пролетел над нашими головами.

- Что же ружье-то не взяли? Стрельнули бы. Или вы эту охоту не уважаете?

- Как же не уважаю? Очень уважаю! Поспешил, вот и не взял.

- Ну вот, поспешил. То никак доехать не можете, а то поспешил. Спешка знаете где нужна?...

Егерь разглагольствовал так, как будто уже и забыл, как погнал меня из дома, не дав опомниться после дороги. Но я, как

большинство интеллигентных людей, привыкший чувствовать себя в чем-нибудь да виноватым, рад был и этой его разговорчивости — все лучше, чем, мрачная игра в молчанку.

От креста мы прошли еще немного вперед, затем резко повернули направо в густой ельник, который быстро поредел, и мне открылась большая вырубка, понижающаяся у края ельника и переходящая в болотину. Мы перешли ее и оказались в кустах, среди которых стояли одна к одной несколько невысоких елочек, образывавших естественное укрытие, на границе между вырубкой и болотиной. Я раздвинул елочки и увидел, что они создают как бы шатер, внутри которого достаточно пространства для того чтобы сидеть, держа наизготове ружье. Внутри укрытия лежал перевернутый вверх дном ящик, покрытый соломой.

- Ну, вот и засидка, — сказал Николай Андреевич, — никакого шалаша не нужно.

- Да засидка удобная. Петухов-то сколько прилетают? — спросил я заискивающе.

- Да кто ж их знает, — ответил Николай Андреевич и, видимо, чтобы меня ободрить, добавил: — Может ни один не прилетит. У вас лицензия-то на сколько?

- На двух.

- Ну вот, значит, два и будет. Я в этой году еще ни разу не ходил. Некогда.

Это высказывание находилось в явном несоответствии с оборудованностью засидки, и, прочтя мои мысли, Николай Андреевич пояснил:

- Приезжал тут два дня назад один, из главка. Свел я его тоже сюда. Пару он взял, а сколько всего было, я и не спрашивал... Пошли назад, дорогу запоминайте.

Когда мы вернулись домой, на столе стояла уже кастрюля с дымящейся картошкой, на тарелке были нарезаны соленые огурцы и селедка, шипел самовар... Я быстро вытащил из рюкзака бутылку "Российской" и батон колбасы, что было воспринято сдержанно, но благожелательно. Сели за стол.

Дед тронулся после первой стопки, но настоящая оттепель началась после второй: наконец-то улетучилось леденящее "вы", и я уже был просто Владимир, а он просто Андреич, и пошли лихие охотничьи истории, сопровождающиеся такими эпитетами и оборотами, что едва ли какая-нибудь редакция согласилась бы их воспроизвести.

- Смотрю этот... прямо на меня прет. Я его как... он... аж через голову перелетел.

- Николай, ты бы не матерился все время при постороннем человеке.

- А что же он не русский, что ль?

Выпили еще.

- Да будут петухи, не сомневайся, куда им деваться. Я же тебя на самое лучшее место отвел. Найдешь засидку-то? Я бы тебя проводил, да мне с утречка пораньше надо на это собрание, туды его мать, в Мышкино. Ружье с собой возьму на всякий случай. Может, вечером тоже сходим, посмотрим — как там что.

- А и верно, лучше бы проводил человека, — вмешалась Евдокия Васильевна, — страшно ведь в лесу одному-то, не дай бог заблудится; что тебе это егерское собрание далось — пьянка одна.

- Да полно, какая пьянка, где ты ее видала. На Руси отродясь никогда пьянки не было; это только в книгах пишут, клеветнических, верно, Владимир? А в лесу чего бояться, небось, с ружьем идет-то. Если он, конечно, не поспешит и в спешке его не забудет. Как давеча. Это же надо — идем в лес, тут вальдшнепы кругом летают, он, оказывается, поспешил и ружья не взял, ну и охотник!

- Да ты же сам его в лес погнал, передохнуть не дал; злющий такой был, мне аж за тебя стыдно стало человек, можно сказать, в гости приехал, а ты...

-А что я? Я свою работу выполняю: смотрю, смеркается уже, время поджидает, а он вялый какой-то — то ли сонный, то ли с перепоею; ну я и подбодрил его малость. На то и щука в речке, чтобы пескарь не дремал.

-Да ты и верно, как щука.

- А заблудиться тут негде: дальше чем на сорок километров лес ни в одну сторону не тянется: иди по просеке, куда-нибудь да выйдешь. А в случае блудить начнешь — спроси: где, мол, тут хутор Угловка, адрес-то знаешь.

- Да кого же он в лес спрашивать-то будет?

- Да хоть кого: хошь волка, хошь медведя — любой укажет.

- Господи, страсть-то какая. Да я бы в жизни ночью в лес не пошла.

- А ты и не ходи. Ляж на лежанку и лежи. И мне спокойнее будет, а то не дай бог, какой медведь на тебя глаз положат, сраму-то потом не оберешься.

- Да будет тебе языком-то молоть. Лучше, правда, проводил бы человека, а собрание твое подождет.

- Да не могу я, говорят тебе — дело есть. Ты, Владимир, сколько здесь пробудешь-то?

- Да мне надо завтра уже назад двигаться. Ну, в крайнем случае, могу еще послезавтра утро прихватить.

- Вот оно что. Я думал, ты на подольше приехал. Стоило в такую даль ради одного утра переть. Ну да это дело твое. Теперь дорогу знаешь, приезжай, когда захочешь. Там в бутылке-то осталось еще чего? Разливай, да и пойдем подремлем маленько.

Заснуть я, кажется, так и не смог — все боялся проспать, и когда в начале третьего, быстро одевшись, вышел из дому и по уже знаковой дороге поднялся на бугор, то почувствовал полное блаженство. В голове моей, наскაკивая друг на друга, проносилось радостные мысли о том, как гостеприимны простые русские люди и как удачно все складывается, и как хорошо пахнет весенний лес. Я уверенно шагал по тропинке, подсвечивая фонариком, узнавал ориентиры, на которые мне указал вчера Андреич, и довольно быстро, как мне показалось, дойдя до такого теперь знакомого креста, остановился. Ну, вот почти уже и на месте. Можно минутку и постоять. До чего же хорошо. Боже мой, до чего же хорошо!

Ведь сколько раз все это же пережито и тобой, и другими людьми; сколько раз прочувствовано, рассказано, описано, И, тем не менее, каждый раз — как будто впервые. Как будто впервые и специально для тебя стих и померк мир; тьма и безмолвие — только ручей булькает, да иногда из лесу доносятся какие-то звуки: словно во сне кто-то охает или стонет... и в тебе самом все смолкает; смолкает и прислушивается к чему-то; прислушивается и знает — пройдет еще несколько мгновений и все вокруг начнет меняться; предутренний ветерок принесет зябкость, завибрирует, раздувая

зорию, бекас; начнет светлеть, зеленеть, розоветь, распахиваться, расковываться, пищать, трещать, бормотать, чуфыкать, мелькать, вспархивать, перелетать, ломиться сквозь лесную чащу — тысячами движений, звуков, красок, приветствуя наступление утра; и в каком бы настроении ты ни находился: был ли ты весел или подавлен, провел ли бессонную ночь или пробудился после крепкого сна, считал ли жизнь подарком или обманом — все равно, все это подхватит, увлечет тебя, понесет в радостном движении навстречу новому дню.

Ну что вот Фауст? Все-то он мыкался, все не знал — в какой момент сказать: остановись мгновенье! Сюда бы его: в эту ночь, на этот перекресток —нюхай, смотри, жди. Еще чуть-чуть и тридцать петухов (это тебе не Гретхен с ее капризами! слетятся на поляну, чтобы померяться силами... тридцать петухов прекрасных... а с ними, глядишь еще, и дядька их... остановись мгновенье!

Впрочем, стоять некогда, уже того гляди начнет светать.

Я быстро пошел вперед, повернул направо, вошел, в ельник, стал пробираться сквозь него, рассчитывая, что сейчас покажется вырубка, но попал вместо этого в какой-то березняк, стал крутиться, понял, что заблудился, пережил приступ отчаяния, пошел куда-то почти наугад, неожиданно вышел на вырубку совсем с другого угла и, только дойдя до елового куста и увидев лежащий на земле ящик, убедился, что это и есть засидка и облегченно вздохнул,

Я сел на ящик, вынул из чехла ружье и начал его собирать. Как обычно "Зауэр" складывался плохо; я тщательно вставил казенник в металлическую часть колодки, нажал еще и еще раз, перехватил рукой за конец ствола, и вдруг понял все... Как это бывает, когда все уже ясно, но случившееся слишком нелепо, слишком несуразно,

чтобы быть правдой! Что это болтается у меня под пальцами? Ведь это же антапка, а здесь, на ложе? Здесь ее нет. Не может быть! Не мог же я быть таким идиотом, чтобы взять стволы от одного ружья, а приклад от другого!... И тем не менее именно это и произошло. Только охотник поймет мое отчаяние!

Разные бредовые идеи овладели мной: может быть, можно силой всунуть стволы в металлическую часть колодки или просто прижать их поплотнее к бойкам и палить... Несколько минут я судорожно крутил стволы и приклад от двух разных ружей пока, убедившись в полной невозможности что-нибудь сделать, не отбросил их в сторону.

Теперь оставалась только надежда на то, что тока не будет. И я начал мысленно молить судьбу, чтобы погода испортилась, чтобы резко похолодало, чтобы пошел дождь, чтобы ни один тетерев не прилетел, чтобы не было мне так ужасно обидно.

И словно в насмешку пронесся мимо меня снаряд, пущенный откуда-то из леса, позади меня; пронесся и разорвался совсем неподалеку, огласив окрестности могучим и воинственным звуком «чу-фшш, чу-фшшш»...

Не буду описывать, что произошло потом: тому, кто бывал на тетеревином току, картина эта и так хорошо знакома, ну, а тому, кто не бывал... что же, советую поспешить тетеревов, говорят, становится все меньше и меньше...

Прошло, наверное, часа два, а я как замороженный не мог оторваться от того, что происходило передо мной. Тридцать не тридцать, но пятнадцать-то наверняка, черных как смоль, краснобровых петухов гонялись друг за другом по позолоченной первыми лучами солнца вырубке. Время от времени они замирали,

припав к земле и распутив лирой свои роскошные хвосты; раздавалось тихое воркующее бормотание, похожее на журчание невидимого ручейка, тетерева медленно поворачивалась на одном и том же месте, а затем подскакивали и с разбойничьим криком бросались друг на друга.

Несколько поодаль от драчунов, у кромки леса сидел один петух, не принимавший участия, в общей свалке и, видимо, наблюдавший за играми своих собратьев. (Может быть это и был их "дядька"). Я мысленно назвал его "созерцателем". Он сидел шагах в тридцати слева от меня, и, если бы в руках у меня было ружье, а не (тьфу, говорить не хочется), то я мог бы спокойно застрелить его... Но застрелить "созерцателя"- такая ли уж это честь? Лучше уж тех двух, которые так сцепились, что того и гляди сами друг друга растерзают. Ну и что? Неужели подвешенные за ноги с безжизненно болтающимися головами и крыльями будут они красивее, чем сейчас?

Я почувствовал вдруг, что подмерз, что ноги мои затекли и, крикнув, привстал в своей заездке. И в один миг всю компанию (включая и "созерцателя") как ветром сдуло. Улетели они, впрочем, недалеко: вскоре с березы, стоявшей на другом конце вырубки, потекло во все стороны задумчивое "Уру-ру-ру-ру...".

Я встал и блаженно потянулся. "Хорошо, чертовски хорошо. Если бы я не допустил ошибки, то наверняка начал бы палить, чуть только рассвело, и посмотрел бы лишь пролог и, может быть, первое действие. А так я увидел весь спектакль, с начала до конца, не пропустив ни одной сцены. Действительно, «нет худа без добра».

Может быть, в этих мыслях уподоблялся я лисе, ругавшей виноград, до которого она не могла дотянуться. Может быть. Но только радовался и наслаждался я в этот момент от всего сердца.

"Ну и потом, ведь это же не конец жизни. Ну, съезжу я за ружьем. Эко дело. Когда все здесь уже такое знакомое и родное".

Я представил себе, как будет сочувствовать и охать Евдокия Васильевна, как будет веселиться, и ехидничать Андреич: "Как? Стволы от одного, а приклад от другого? Ну и ну! Как же это ты ухитрился? Что же, опять поспешил? Ну, тут-то уж тебя кто подгонял? Ах, москвичи, ах охотники, трах тарарах, тарарах!"

Я вышел из засидки. Мой трофей не висел у меня на поясе и не лежал в ягдташе, но он был здесь — во мне и вокруг меня: в сборах на охоту, в мытарствах дороги, в мрачности Андреича и в его распахнувшемся радушии; в охотничьих рассказах, в моем ночном ликовании и в моем отчаянии; в тетеревиной удали и в моей беспомощности; в солнце, поднимавшемся над вырубкой, в музыке птичьих голосов и в ни с чем не сравнимых запахах, которые так щедро дарит природа в минуты своего пробуждения.